

„Мною любопытного на Руси“

Всеволод ИВАНОВ

К Москве приближается поезд, который везет Горького.

Мы едем встречать его на вокзал. Автомобиль медленно пробирается сквозь яркую, трепетную, радостно возбужденную толпу. Ласковая, очарованная, свежая, толпа эта, по мере приближения к Белорусскому вокзалу, становится все плотней, гуще и словно ярче. Тротуары, окна, подьезды и даже крыши зданий, тех, что пониже, заполнены людьми.

День серый, каких в Москве много. Вокзал, каких в Москве тоже много. Но, боже мой, как чист и прибран он. Двери распахнуты, и через вокзал протянута алая ковровая дорожка... Нанесено так много цветов и зелени, что пахнет остро и несомненно садом, полем.

Поезд ближе. Говорят, он уже миновал Кунцево. Все поворачивается в сторону поезда, глядят на тусклые, сизоватые рельсы и лица кажутся поблекшими и, честное слово, видно, как трепещут сердца.

Пожилый, тускло седой железнодорожник идет вдоль перрона, отодвигая пассажиров: «Чуть подальше, граждане, чуть подальше, а то под вагон». Служит он на этой дороге уже, наверное, много лет, привык ко всему, и, однако, какое у него взволнованное лицо! Он доходит до конца толпы и говорит кому-то, чтобы поделиться причиной этого, беспримерного для него, волнения:

— Я в детстве думал: «Максим Горький — поезд изобрел, отсюда и пошло имя. Поезд для бедных, чтоб каждый мог уехать от плохой жизни куда-нибудь подальше».

— Да, был такой поезд...

— А как же! Бесплаткартный, дешевый, теплушки. Вот на нем-то я и имел возможность уехать от той беспроектной жизни. Позже уже узнал я, что Горький книги пишет. И пришлось мне тогда прожить в тюрьме три недели за эти книги.

— Каким же это образом?

— А был такой случай. Лавочник мне сказал: «Врет ваш Максим Горький, как босаяк». Я возмущен. Это, как если бы я жил, а мне сказали, что я вру всей своей жизнью! Тут я ему в морду. Ну, меня к мировому и дали мне, голубчику...

Рыхлый серебристый дымок показывается на путях. Гудит гудок. Осторожно и восхищенно, как отец с покупками в комнату, входит убранный цветами и зеленью паровоз. В окнах вагонов умиленные лица пассажиров. Они машут руками, показывают, что вагон Горького дальше. Выходят из вагонов поспешно и вместо того, чтоб искать родных или торопиться к выходу, подхватив чемоданы и сумки, бегут вместе с нами к вагону Горького.

Сквозь немолчный, бурный, возвышенный, но не совсем стройный рев музыки слышим:

— Алексей Максимович!

— Алексей Максимович, родной!

И над толпой, словно застывшие крики радости, плывут, отчаянно колышались цветы. Доплывает их до Горького немного: теснота, цветы валятся под ноги. Горький берет растрепанный, но благородный букет цветов и неумело держит его.

Горький поднят на руки. Его несут по цветам. Он плачет. Он видит всхлипывающих музыкантов и недоуменно оглядывает их, видимо, желая сказать что-то. Но его проносят мимо.

Пожать ему руку возле вагона мне не удалось. Тороплюсь к трибуне. Только взобрался, только подошел к нему, как сын его Максим Алексеевич, — уже не помню, для чего, — попросил меня взять и принести из машины какую-то зеленую панку. Я спускаюсь с трибуны.

Слышу позади себя возглас:

— Горький сейчас будет говорить?

— Са-а-ам?!.

И это «сам», возвышенное и радостное, хлынуло на меня красивой и крепкой волной, подхватило, понесло с легкостью, обжигая душу восторгом.

...Слова его почти не доносились к нам, но чувствовалось в них что-то светло-радостное, поэтическое, пыльное, что понятно без слов... Чувствовалось не только нами, а всею площадью, что на сердце у Горького отрадная и несокрушимая вера в силы народа, в силу его творчества. Чувствовались его слезы. В слезах было и лицо рабочего, стоявшего возле нас.

Приглушенно гудел позади нас вокзал. Остановились трамваи. Чуть колыхался на фоне глянцевого колонн Триумфальной арки серебристый туман пыли, принесенный сюда сотнею тысяч ног. Бегут запоздавшие, толкаются в толпу, отскакивают, — в большинстве это молодежь, студенты или молодые рабочие. Молодежь лезет на трамвай, машет оттуда руками. Возле одного трамвая обоз лозовиков; темные и светлые кони, могучие, словно железные, везут огромные воза саженьцев. Саженьцы наполнены светом, отраженно льющимся из окон... Как это все прекрасно, и думаешь, что прекрасная жизнь и любовь к жизни соединила эту стотысячную толпу в одном порыве так, что теперь не разведишь, и хлынет теперь слава об этом любовном порыве, соединившем художника и народ, по всей нашей стране, хлынет и залет ее!

...Вечером рассказываю Горькому о встрече: как я его видел от деревнянского забора. Он любит обобщения, но, когда эти обобщения желают применить к нему, да еще с лестной стороны, он переходит к частностям.

Он спрашивает:

— Забора я не разглядел. Голубой? Не разглядел. Что же, и на забор вскарабкались?

С удивлением вдруг вспоминаю, что на заборе зрителей не было.

— Не было.

Смеясь глазами, он говорит:

— Горький — Горьким, романтика — романтикой, а народ у нас практичный. Зачем ему лезть на забор, коли у того столбы подгнили? И зачем Горькому замечать такой забор, коли хлопочет он об издании журнала «Наши достижения». Вглядишься в забор, придется хлопотать и о журнале «Наши недостатки».

Коробка сигарет докурена. Он ломает ее, складывает в широкую темную пепельницу, рвет и бросает туда еще какие-то бумажки и поджигает этот крошечный костер. Любуясь безмолвными струйками огня, он говорит:

— Ну, а как вам понравились музыканты? Расплакались, и кто их знает, что они играли. Это мне непонятно. В России всегда такая великолепная музыка, такие оркестры... — Он рассказывает о русских оркестрах, крепостных музыкантах, о встречах с народными музыкантами, о раздольной и просторной, как степь, русской музыке и затем опять возвращается к музыкантам, которые встречали его на вокзале. — Удивительно плохо играли. Растрогались. Никогда не предполагал, что музыканты столь чувствительны к приезду какого-то там писателя. Музыканты, как правило, ничего, кроме музыки, не знают.

Кто-то замечает, что растроганность советских музыкантов — признак возросшей культуры: знают кое-что и кроме музыки, знают и любят.

...Костерик в пепельнице потух. Горький уминает пепел и говорит:

— У меня сегодня праздник, я растроган и говорю, может быть, чересчур чувствительно. Извините. Но очень приятно, помимо всех праздников, жить на Руси и чувствовать себя гражданином нового ее строительства. Хороша Русь и много в ней любопытного, жгучего, несокрушимого! Всеильная, иногда — мучительная, но всегда заманчивая страна.

Горький бьет пальцами по столу чуть слышную, порывистую трель и говорит:

— И много любопытного на Руси... чрезвычайно много! Безбрежная страна и народ безбрежный: к другу сердобольный, к врагу — грозен. Последнее время ко мне много пишут. Основная тема писем: восхищение страной и друг другом. И восхищение хорошее, слегка даже ворчливое. Этого никогда на Руси не бывало. Это, если хотите, признак стройности стана: выпрямилась матушка-Русь, пошла-а! Хорошо! И хорошо еще и то, что и не знают, чем бы им друг друга отблагодарить. Выбирают. И чувствую, что выберут что-то огромное, величественное, такое, что другому народу и не снилось.

Помолчав, он говорит:

— Много любопытного на Руси, а всего любопытней — человек ее, коему и поклонимся.

★

...И еще вспоминается 1928 год, узкий Машков переулок, где по приезде из-за границы остановился Горький.

Когда я подошел к подьезду дома, неподалеку от дверей стояла пожилая женщина в платочке со свертком в руке. Маленькая девочка жевала хлеб, запивая его водой из бутылки. Я удивился во взгляде женщины что-то странное, будто она смотрела на меня с некоторой завистью. Я хотел ее спросить, чего она ждет здесь, но постеснялся. Видно было, что стоит она здесь давно, что пришла издалека, а стоит прочно, крепко, и понятно, почему ее стесняются спросить. Она-то знает, зачем стоит.

Не видался мы с Горьким давно, и я, грешный, засиделся, — часа четыре просидел. Каюсь, просидел бы и больше, кабы ему не понадобилось ехать куда-то на заседание.

Вышли. У подьезда автомобиль. Горький приглашает. Я отказался, — жил я не так далеко от Машкова переулка, да и хотелось к тому же пойти домой пешком, медленно, обдумывая беседу, как всегда, и скромную, и беспокойно большую, широкую.

Автомобиль покатился...

Тут только я заметил пожилую женщину в праздничном, рядном платочке.

Она стояла подле меня, и, держась за ее руку, жадно глядела вслед Горькому маленькая девочка. Лица у девочки и у бабушки ее были какие-то клубящиеся, точно когда откроешь ставни в избу, в летний весной, то закружится перед тобой прошлогодняя пыль, и поползет в углы ночная мошкара, и хорошо делается на душе, и нельзя не улыбнуться.

— К Горькому? — спросил я. — А куда ж вы девались? Он вас и не видел.

— А мы в подьезд, — сказала, вся заливаясь теплой краской, бабушка. — Мы — стеснительны. Он смел. Вышли, когда он поехал.

— Надо б поговорить с ним вам, бабушка.

— Надо б, да и как скажешь? Народ ему все давно высказал, он записал. А я сказать стесняюсь. Повидать нам бы его, ну, и повидали. Внучка больно хотела... я из Ярославля, ткачиха. Работала я сорок, почесть, лет, а нонче ушла с производства по усталости. Ну, да ничего: наладили жизнь не до полдня, а на весь день, можно мне и отдохнуть...

Она взглянула на меня ясными и веселыми глазами и, улыбаясь, спросила:

— Ты заметил, какая у него рубахоты? Голубая!

— Он всегда, сколько помню, голубые носит.

— Да ведь не в цвете дело, а в том, что материал-то такой мы недавно освоили. И послали к нему в подарок. Он и надел. Крепкий материал, якорь повесь — не оторвется. Ребята говорили: наш материал носит, а я не верила. Теперь смотрю, наш. И так ему к лицу, что я подумала: всегда, должно, он наш материал носил. И мой станок тоже ведь работал, хоть я прилегла теперь от усталости... Да вот и внучка, небось, будет на нем ткать. А, Шура, будешь полотно ткать?

Девочка, подумавши, ответила тоненьким и прозрачным голоском:

— Не, баушка, я полотно ткать не буду.

— А что же ты будешь ткать, Шура?

— А я книги буду ткать, баушка.

ИЗВЕСТИЯ

В. МОСКВА

16 ИЮН 48

20